

## ЧЁРТИК

1



ом Дивилиных у реки. Старый, серый, лу-  
пленный. Всякая собака знает.

Дверь в дому с приступками, узкая,  
серая, глухая — ни скважинки, ни щелин-  
ки — и для ключа никакой дырки не видно.  
В ночную пору не достучаться. Да и кому  
в ночную пору стучаться? — Разве бы  
вору? — Вору-то, положим, и не к чему,  
вор и без дверей залезет, на то он и вор.  
А если вот случай какой, надобность важ-  
ная... Ну, уж не обессудь — звонка не во-  
дится.

Одно время на двери висела записочка:  
ход в окошко —

Плутня ли тут чья, или так уж надо бы-  
ло по случаю какой переделки, — дей-  
ствительно, о ту пору поблизости окола-  
чивались маляры. Но от этого не легче.

Ты сунься-ка, попробуй! — окно-то  
вон где: сколько ни скачи, не доскачешь,  
только жилу себе вытянешь. Оно если бы  
с тумбы или с фонаря... Да тумба-то на  
грех кривая: ехал как-то ломовик, зазевал-  
ся, зацепил за тумбу, тумбу и своротило,  
так с тех пор кривою и осталась. А с фона-  
рем тоже радость не ахти какая. Если бы  
хоть чуточку поближе, а то ишь угодил  
куда — совсем наискосок к Москва-реке.  
Это пока-то полезешь да приноровишь-  
ся — да и лазить не стоит: пустое! Ну, да  
что, с улицы не подступиться.

Вот через забор разве с набережной махнуть? — Через забор — костыли помеха: другой попадет тебе толще пальца, вот этакий, а востроты — игла тупее. Его, брат, не перещеголяешь!

Если ткнуться в ворота... если ткнешься в ворота, прямо перед тобою будет на дворе огромный сарай; когда-то ходил сарай под извозчика, а теперь только конский дух остался, навозцем, да и тот продыхается.

Доберешься благополучно до сарая, поверни на левую руку и иди напрямик до собачьей конурки — собаки в конурке никакой нет, была одна, Белкой звали, да подохла, так что и побрехать некому.

А от конурки опять поверни на левую руку и упруешься прямо в дверь.

Дверь обита замуслеванной клеенкой и на блоке. Отворить ты ее, конечно, без труда отворишь, хитрости тут никакой нет, и пойдешь по коридору, и, наспотыкавшись вдоволь, уткнешься, наконец, в другую дверь. Тут-то тебе и ожидай! Пока не лопнет терпение — всё равно без толку — плюнешь и пойдешь.

Вот как законопачивались люди!

Улица узкая, пустынная: по утрам водовоз, вечерами отходники — вот и всё движение.

А в дому живут.

Но что в доме делается, ни одной душе не открыто.

## 2

Старик Дивилин в большой чести был, представлялся за юрода, за блаженного. Хоть и жил затворником, а неч-нет, да и показывался. Ходил старик под кличкой утопленника. Как-то, еще вскоре после женитьбы, попал он на Крещение в прорубь и утонул. Стали искать, зацепили багром, на багре его и вытащили, подняли потом на руки и откачали.

С тех пор и пошло: утопленник да утопленник, и вся тут.

С тех пор и пошло: пить очень стал.

Стукнет эта нелегкая минута, — сейчас же всю одежду с себя на пол, да как есть, в чем мать родила, прямо на улицу. Дождь ли, слякоть ли, мороз ли трескучий или вьюга, — проходи мимо: никакого внимания.

И все ему в ту пору раками представлялись, а сам он будто рак наиглавнейший, вроде как бы ихняя матка рачья. Вытянет старик руки, растопырит пальцы клешней и ловит. Кто б ему ни попался, всякого словит. Идет он прямо на рынок и там первым делом за лошадей берется. Бьет во все кулаки скотину, лупит ее по морде, пока из сил не выбьется, да где-нибудь у стойла тут же и притихнет. И лежит под рогожей неподвижно, как мертвец, глаза открыты, огромные без белков, и выпучены — рачьи, и сам весь красный, как вареный рак.

А придет время, очухается, встанет и начнет бормотать да распинаться. Только слушай! Тут от баб ему прохода нет. Всё, что, бывало, ни скажет утопленник, всё так и сбудется. Никогда не обманывал. Такой уж, знать, дар был.

Большим уважением пользовался человек, редко кому выпадает от человека такое большое уважение. Да пренебрегал, не нуждался. Другого старик хотел.

Старуха Аграфена, как в монастыре, и носу никуда не покажет, так и сидит сиднем. А кто ее видел, не скажет, что она старуха: так лет сорок, не больше, да и то перехватишь, а эти годы не старые, в эти годы и как еще пошевелиться можно, другая-то на ее месте такие выверты вывертывает, молодая позавидует.

В беленьком платочке, вся прозрачная и неподвижная, не то без кости она, не то бессемянка. Тихая, не улыбнется. И всё в одном виде: и не стареет, и моложе не становится.

А бывало-то, до замужества, какие только, бывало, чудеса не творила, какие только чуды не чудила. Такая любовная: всякого приголубит и пригреет, и откуда-то слова такие появятся, прямо за душу хватит, и войдут слова в душу и угасят всякое пекло. Любому старику такие знания, что она знала. Бывало, расспрашивать кого начнет или в трудную минуту сама что посоветует, заслушаешься. Глаза голубые, волосы — лен. Монаху не устоять, не токмо что простому человеку.

И случись же тому — влюбилась она по уши в Ивана-утопленника, а Иван и в ус не дует, хуже, просто сам не знает, почему противна она ему да и только. Тут вот оно и произошло. Взяла она Ивана, добилась своего, да не своими руками.

Дело вот как было. Давно уж замышляла Аграфена недоброе — приговор о сделать. Ждала только Пасхи.

На первый день Пасхи после обедни, когда вышел батюшка со святою водой, заметила она паску, на которую святая вода перее всех крапнула, отщипнула от паски кусочек и затаила у себя. То же проделала и с артосом, на который перее всего святая вода попала.

Завязала артос и паску в тряпочку, повесила на грудь, и так носила на груди до новолуния.

Когда же показался на небе молодой месяц, вышла она в глухое место, стала против месяца, сняла месяцу с груди свой золотой крест и стала наговор сказывать — приворот делать:

Месяц молодой всё видит,  
месяц молодой всё знает,  
и видит и знает,  
кто с кем целуется.  
И она, Аграфена,  
целуется с Иваном.  
Так и навеки,  
чтоб целовались и миловались,  
как голубь с голубкой!  
Едет она на осляти,  
гадюкой погоняет,  
пристывает к месяцу  
с артосом и паской.  
И Иван не отвертывается,  
не говорит ей худого слова.  
Так и навеки,  
чтоб не сказал худого слова,  
а всё ласково.

Аграфена сняла с груди тряпочку, вынула артос и паску, съела, а немножечко крошек оставила.

Побежала под каким-то предлогом в дом к Ивану, да незаметно и всыпала ему в чай крошки.

Дождалась, пока Иван выпил чай, и тогда ушла домой.

Иван рехнулся: жить уж без нее не может!

А она испугалась. Видит, дело не ладно, жить так, как раньше, она уже не может: тянет ее куда-то, наводит на такие мысли — кровь холодеет в жилах. Всё это так незаметно, как-то само собою, всё будто в шутку.

И чувствует она в себе необыкновенную силу, и захоти она самого невероятного, и оно тотчас исполнится.

И она уже боится хотеть чего-нибудь, боится думать...

Опять достала крест, повесила себе на шею, стала поститься, всё, всё, всё проделала, как написано.

И затихла.

Словно прихлопнуло ее. Словно чёрт задавил ее. Плюнул на нее чёрт и навсегда ушел, бросил в этом мире жить в покое, в молчании, без веселья, без радости, без единой улыбки, хоть на один миг.

И она жила безмятежно, безропотно.

Куда всё подевалось? — Сама не поймет.

Да и было ли что? — Ничего не помнит.

Будто родилась такой, будто отродясь не веселилась, не радовалась, не улыбалась ни разу. Молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

### 3

Дети у Дивилиных рождались часто. И помирили. Родится крепыш, поживет с год, уж и ходить начнет и разговаривать, да вдруг ни с того ни с сего и протянет ножки, — Богу душу отдаст.

Осталось в живых всего навсего двое — два мальчика.

Старший, Борис, большую охоту к ученью имел. Всю свою половину в доме книжками оставил. Неразговорчивый, сидит, бывало, всё читает, и не оторвешь его ничем: ни сладостями, ни играми. Кончил он гимназию, поступил в университет студентом.

Сам старик Бориса до страсти любил. Ни в чем ему не отказывал. Всё хотел, чтобы из него доктор вышел.

Бывало, в тихий час, когда не случалось запоя, подсядет старик тихонько к сыну и всё расспрашивает:

откуда мир пошел, да откуда земля, да откуда человек и всякий зверь?

и зачем всё так приключилось, как оно есть, и будет ли конец этому, и наступит ли другое?

и какое такое это другое будет?

и почему на земле все причины и боль и страсти?

и зачем смерть приходит и люди рождаются, и зачем сердце у него сохнет?..

Понимал ли старик, что́ ему сын из книжек рассказывал, понимал ли сын, о чем его старик спрашивал?

Старик всё тянул свою черную редкую бороду, впивался в нее пальцами, будто клешнями, качал головою.

И так же тихонько, как входил, опять отправлялся к себе на свою половину и там нередко в потемках, при крошечном свете лампадки, целыми ночами ходил взад и вперед и бормотал сам с собою, и, впиваясь пальцами в черную редкую бороду, кивал головой, и, выпучив черные без белков рачьи глаза, стоял столпом. Стоял долго, весь — камень.

И опять тихонько пробирался к сыну и, если заставал его за книжками, садился молча, глядел на него, а впадина меж бровями чернела чернее глубокого колодца.

— Зачем смерть приходит и люди рождаются, и зачем сердце у него сохнет?

Борис рано женился. Ходила к Дивилиным в дом к матери Аграфене молоденькая монашка Глафира. Вот на Глафире он и женился.

Родилась у них девочка.

А вскоре случилась в доме такая темная из темных история. Однажды ночью к дому подъехала «черная карета». Вышли из кареты люди. Вошли в дом. Взяли Бориса. Посадили с собою в карету. Карета укатила. Уехал Борис. И больше не вернулся.

Больше Борис в дом не вернулся.

Так и сгинул, — ни слуху ни духу.

Двенадцать лет прошло с тех пор, а всё ничего не известно, и сколько ни ломали голову, ни до чего не дошли, и сказать ничего нельзя: как, что и почему?

Двенадцать лет, как умер старик, не возвращается Борис, и вернется ли, — одному Богу известно.

Старик умер с горя.

С того дня, как увезли Бориса, он больше не ложился спать, больше он не мог спать.

Все ночи проводил старик в комнате Бориса на своем обычном месте у стола и, облокотясь, смотрел туда, где прежде сидел Борис над книгами.

— Зачем смерть приходит и люди рождаются, и зачем сердце у него сохнет? — бормотал старик.

Да так и помер.

Уже после смерти его через несколько месяцев Аграфена родила последнего. Окрестили мальчика Денисом в честь де-душки.

Ни смерть старика, ни случай с сыном не смутили ее ровно-го изо дня в день равного века.

Только один раз голубые ее глаза вспыхнули голубым огонь-ком. Только один раз — и погасли.

Безмятежность, безропотность. Молится да вздыхает, мо-лится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

#### 4

Весь дом и всё дивилинское хозяйство ле-жали на руках невестки Глафиры. И Глафира заправляла всем по-свойски.

Сохлая, как щепка, тощая, как спичка, без кровинки, хищ-ная и злая, что Яга на суковатом помеле, — сушная Яга.

Там, в монастыре, тихая по нужде, смиренная по послуша-нию, развернулась она тут всюю в пустом доме с его половин-ками, коридорчиками, переходами, закоулками, лестницами без конца и всякими без числа комнатами.

Вышла Глафира замуж за Бориса... шут ее знает, почему она вышла замуж. По любви, или расчет у ней какой был, или про-сто так пора пришла... Теперь свободная, она свободно могла делать всё, что хотела.

Но что ей делать, кроме как по хозяйству, в этом пустом доме? — Да ничего.

Как ничего?

И попадало ж от нее Антонине и Дениске.

По двору побегать, либо со двора куда: покататься там на лодке, поудить рыбу, — ни-ни!

Только по большим праздникам Яга забирала детей и от-правлялась с ними пешком на другой конец города, в мона-стырь за заставу. И всю-то дорогу муштровала и за службою

пьявила, — какое уж там развлечение, хуже карцера, куда Дениска частенько попадал и за лень и за шалости.

Дениска — мальчишка рослый, и грудь у него железная.

На перемене и часто во время урока, расстегивая курточку, показывает он мальчишкам свою грудь. И все соглашались, да и не могут не согласиться, что грудь у него, действительно, железная, и если постучать, отдает здорово.

Когда Дениска только что поступил в гимназию, его встретили кличкой — так, по отцу — у т о п л е н н и к о м. Но в первый же день он избил одного из самых отчаянных и задирчивых во всей гимназии, и с тех пор его побаиваются.

Лентяй страшный, за книжку не усадишь. Одно пристрастие: очень рисовать любил. Только и дело, что выводит рожицы, учителей да разные разности. Полны карманы карандашей, гуммиластиков и снимки.

«Снимка» ходила не только для снимания точек при оттушевке, но и для озорства. Снимка такой предмет, что сам в рот просится. И пахнет от снимки чем-то таким приятным, особенно когда она свежая и с бумажки так на желтой своей перепонке отлипается.

Дениска любил жевать снимку, пожует-пожует, а потом какую-нибудь фигурку из нее и состроит: либо лягушку, либо несуразность и еще там что, отчего весь класс, как один, завизжит, и унять уж невозможно станет. Потом надует пузырек и, когда притихнут, возьмет да и сдавит снимку, чтобы лопнуло. И лопается, трещит пузырек по всему классу, а причины не видно.

Из-за этой снимки сколько раз в карцере Дениска сидел, да по воскресеньям ходил в гимназию, если считать, так всякий счет потеряешь.

Книжки читать для Дениски всё равно что поклоны класть. И те книжки, которые выдавались ученикам на дом, с первых же строк нагоняли на него такую зевоту, и так его всего корчило, что вот того и гляди, возьмет он эти самые книжки да в клочки.

А знал Дениска много разных историй, разными путями они попадали к нему: и наслушался вдоволь, и так из головы выдумывал.

В гимназии за карцером присматривал старичок швейцар Герасим. Сидит, бывало, Дениска, и старичок Герасим сидит, смотрит к Дениске в окошечко: тоже никуда уйти нельзя, отве-

чать за всё будешь. Вот старичок скуки ради и рассказывал. И про что только не калякал старик: и про сражения, и про деревню, и про колдунов, и про покойников. А сказки начнет — хоть бы и век сидеть в карцере! — вот как рассказывал.

Антонина тоже училась в гимназии. Но прошлой зимою с ней беда приключилась, и из гимназии ее взяли.

Как-то на первый снег поела Антонина с Дениской снежку. С Дениски как с гуся вода, попершил, тем и отделался, а Антонина слегла. Да так тяжело, всякая надежда пропала, что встанет. И всё же выходилась, только с ногами стало неладное: ступить она могла лишь на одну, левую, и то носком, а правая нога так болталась, как хвост. Пришлось девочке костыли носить.

И куда девалась ее светлая коса, — так какие-то одни волосики торчат, а от косы и помину нет.

Первое время после болезни Антонина всё еще продолжала ходить в гимназию. Самая озорная — Дениске в озорстве не уступит, — самая неугомонная во всем классе, сидела она теперь, запрокинув голову, как горбатая, и костыли торчали за ее спиной, как два чёртова кукиша.

На бледном ее личике порывалась скорчиться рожица, и губы коверкались, готовые уж задать такой смех, от которого и учитель и доска покатаются по классу, но ничего не выходило, — выходило что-то жалкое, жуткое и мучительное, отвернуться хочется.

Учителя избегали вызывать ее, а когда спрашивали, то разрешалось отвечать сидя... Да она, бывало, и минуты на месте не усидит! Извелась девочка. Вот и взяли ее из гимназии.

И теперь Антонина с утра до вечера в комнатах под призором своей матери — Яги.

Ягу дети не любили, как не любила Антонина своих классных дам, как не любил Дениска нюнь, пихтерь, тихонь, фискал, директора и надзирателей.

Старуху же Аграфену, напротив. И часто дети заходили к ней на ее половину. Величали Аграфену бабинькой. Так уж повелось: бабинька и бабинька.

Тепло у старой, уютно.

Стены в картинках; картинки шелками да бисером шиты: тут и цветочки, и лютые звери, и монастырь, и китайцы, амазоны на конях и так амазоны, лебеди, замки, и опять китайцы.

В углу иконы, по бокам святыня: шапочки, туфельки, рукавички, ленты, пояски, крестики, гашники, нагузники — все с мощей от угодников.

На столиках шкатулки — бисерные, и кожей обделанные, и разрисованные, и хрустальные.

Бабинька в беленьком платочке, словно воды в рот набравши, ни слова не скажет, только молится да вздыхает.

А какая у бабиньки лестовка: белая лестовка, скатным жемчугом осыпана, на лапостках по золотистому бархату жемчужные веточки, и краешки и ободки жемчужные, и каждый бабочек — ступенька из целой жемчужной дорожки.

Лазали себе дети по шкатулкам, отворяли сундучки, вынимали диковинки и все пересматривали и все перетрогивали. И чего-чего там не было...

Старуха, между тем, не оставляя молитвы, отпирала один из шкапчиков, брала из шкапчика полную тарелку сушеных яблоков, и груш, и слив, и винограду и ставила на стол перед детьми.

— Ягодку, ягодку! — шептали ее поблекшие губы.

Бросали дети шкатулки и коробочки, принимались за тарелку, уписывать.

— Ягодку, ягодку! — шептала бескровно старуха.

И тарелка пустела.

— Прощай, бабинька, благодарим! — целовали дети старуху и шли к себе в детскую.

## 5

Детская — на половине Бориса.

После смерти старика все книги пошли на подтопку, и в доме не осталось ни одной завалящей книжки.

Исчезновение Бориса приписывалось книгам.

— Всё от книжки, — говорила Яга, — книжки от Дьявола, и водить в доме погань — только его тешить, да и пыль заводится.

И там, где раньше не было ни уголка не заставленного, в пустой комнате проводила Антонина все свои дни.

Только и ждала что Дениску.

Дениска возвращался из гимназии с опозданием: то оставят, то так прошляется с мальчишками.

Рассказывал Дениска Антонине страшные и чудные истории, и Антонина любила их слушать.

Сама просила, чтобы рассказывал.

Всякую историю, всякое ухарство принимала она с какою-то страдною болью.

Она хорошо знала: удел ее сидеть вот тут, вот так, и большего нет для нее и не может быть ничего до гробовой доски. Она бередила себя, поддразнивала, слушая рассказы и представляя себе те ухарства, на которые и она когда-то была готова.

Глядя куда-то под потолок, как горбатая, хохотала она, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать. И глаза ее горели со смехом и слезами, и вся она подпрыгивала и костыли за спиною прыгали.

— Денька, миленький, Денька, еще что-нибудь!

А Дениска взялся было за карандаш — замахнулся какого-то чудищу изображать...

— Денька, про дятла! — стучит кулаком Антонина, и бровки у нее сходятся: не то заплачет, не то ударит костылем.

И начинается сказка про дятла, начинает сказку Дениска.

Сказка всем известная, как кормила и поила собака мужика и бабу, и как выгнали собаку за старостью лет со двора, и как очутилась собака в таком скверном положении, что хоть ложись да помирвай.

— И придумала собака идти в чистое поле и кормиться полевыми мышами, — Дениска вытягивает губы и так скашивает лукаво глаза, будто сам мышку ловит, — пошла собака в поле, увидел ее дятел и взял к себе в товарищи...

Тут начинаются собачьи похождения.

Долгая сказка и жестокая.

Рассказывает ее Дениска с азартом, словно бы собачья и дятлова участь были его участью.

Накормил дятел собаку по горло и напоил досыта.

— «Я теперь и сыта и пьяна, хочу вдоволь насмеяться!» «Ладно», — отвечает дятел. Вот увидели они, что работники хлеб молотят. Дятел сел к одному работнику на плечо и ну клевать его в затылок, а другой парень схватил палку, хотел ударить дятла, да и свалил с ног работника. А собака от смеха так и катается по земле, так и катается...

И чем жестче куралесы собаки, тем глаза у Дениски игривее.

Достукалась собака — ехал мужик в город горшки продавать — завязла собака в спицах колеса, тут из нее и дух вон.

— Озлился дятел на мужика, сел на голову его лошади и стал ей выклевать глаза. Мужик бежит с поленом, хочет убить дятла; прибежал, да как хватит — лошадь тут же и повалилась мертвая. А дятел вывернулся, перелетел на воз и пошел бегать по горшкам, а сам так и бьет крыльями. Мужик за дятлом и ну поленом по возу-то, по возу-то. Перебил все горшки и пошел домой ни с чем. А дятел полетел к мужиковой избе, прилетел, и прямо в окошко. Баба печь топила, а малый ребенок сидел на лавке; дятел сел ему на голову и ну долбить. Схватилась баба, прогоняла-прогоняла, не может прогнать: дятел всё клюет. Вот она схватила палку, да как ударит: в дятла-то не попала, а ребенка до смерти ушибла. Воротился мужик, видит: все окна перебиты, вся посуда перебита, и дитё мертвое. Пустился гоняться за дятлом, исцарапался весь, избился, и поймал-таки. «Убить его!» — кричит баба.

Дениска вывел на бумаге какой-то трехаршинный нос, подставил ему ножки, причмокнул:

— Нет, — говорит мужик, — мало ему, я его живьем проглочу. И проглотил.

Бледное лицо Антонины покрывается красными пятнами, бегаёт под глазом беспокойный живчик, и начинает она хохотать.

И в детской, пустой с пустыми полками для книг и с двумя кроватями по углам, с длинными стенами, сплошь изрисованными рожицами, носами, хвостиками, горит огонек далеко за полночь.

Только Яга, шлепая туфлями, разгоняет детей по кроватям.

Но и в кроватях они долго еще переговариваются и прыскают от хохота и пищат мышами.

Мерный свет лампадки, мерный ход часов подговаривают, подшептывают им в этой ночи — и доме пустом.

## 6

Единственный гость у Дивилиных — тараканомор Павел Федоров.

Дети хоронились от тараканщика, и тараканщик не любил детей.

— Поганое, — говорил тараканщик, — дьявольское семя. Зачаты во грехе, грехом насыщены, грех плодят. Поганое.

На дворе росло репею видимо-невидимо, и Дениска урывками, когда удавалось незаметно проскользнуть от Яги, собирал колючих собак и незаметно сажал этих собак тараканомору на самые непоказанные места.

Если было когда-либо такое поразительное сходство человеческого лица с собачьей мордой, так именно у Павла Федорова.

Да большего сходства, наверно, и никогда не было. Ну прямо собака и собака. Заросший весь, поджарый, зубастый, и не голос, а глухой лай. Пес сапатый.

Павел Федоров ходил по известным купеческим домам и там морил тараканов.

Через плечо висела у него черная кожаная сумка с белым ядом, а в руках — палка с кожаным наконечником.

Наконечник он обмазывал свиным салом, вынимал из сумки баночку с белым порошком, осторожно открывал крышку и макал туда палку. Потом шептал какое-то тараканье слово и приступал.

Он ходил по стене, где водились тараканы, и медленно прикладывал свой наконечник, так что вся стена покрывалась беленькими кружочками вроде огненных белых языков.

Медленно прикладывал тараканчик наконечником, да с расстановкою и со вкусом.

И тараканы, уж не боясь света, ползли на приманку и ели белые кружочки, ползли из всех потайных гнезд, из всех щелей и подщелей, с малыми детьми, с яйцами и ели белые кружочки. Наевшись, сонно уползли они назад в гнезда, щели и подщели, чтобы уж никогда не выйти не только при свете, но и в самый разгар усатой тараканьей жизни — в ночную пору.

Тараканомор считал свое дело большим и важным. Словно бы в тараканьем шуршаньи мерещился ему сам Дьявол, а побороть Дьявола, стереть Дьявола с лица земли было главным и первым заветом тараканомора.

И, отрываясь от работы, он только и говорил о главном.

— Вся земля в плену у нечистого, всё проникнуто его сетями, всюду его сатанинские лапы. Дети рождаются не для славословия — поганое семя! — они рождаются, чтобы творить козни Дьявола. И конец уж идет, прогнивает земля от нечистот и пакости. И время уже близится... Дьявол и все сети его станут явными, ибо скрываться ему уже не к чему. Обречена земля, умирают

последние праведники, расплождаются, как песок морской, сыны бесовские. Скрываться уж не к чему. Сядет он на престол, как царь и судия, начнет повелевать и судить от моря до моря своих рабов и обратит царство свое в ад крошечный с огнем неугасимым и червем неусыпающим.

Тараканщик так лицом к лицу никогда не видал Дьявола. А стань Дьявол перед ним, тараканщик не устранился бы вступить в борьбу.

Поморив тараканов, Павел Федоров закрывал свою баночку, убирал ее в сумку, вешал сумку через плечо и принимался за палку, в трех кипятках обмывал наконечник, вытирал сухой тряпкой, ставил палку в сени, потом, плескаясь и фыркая, мыл себе руки, и бороду, и под бородою, шептал опять тараканье отпусковое слово и, помолвившись, садился за стол пить чай со сливным вареньем.

Не дай Бог, чтобы варенье не так было сварено, как любил тараканщик.

За стол не сядет и выговорит:

— Ты сливу разрежь сперва пополам, посыпь ее сахаром, да ставь сковородку на ночь в печь, да наутро вынь из печи и начинай варить. Тогда слива к сливе, что таракан к таракану, будет отдельно.

Возьмет тараканщик свою палку, нахлобучит шапку и уйдет.

И ты его проси не проси, ни за что, в сердцах, не вернется.

А если всё оказывалось в исправности, тут за чаем начинался разговор о главном.

И изливают хозяева душу, перебирая все горести и беды своей семейной жизни.

— Поганое, — лает тараканщик, — всё поганое.

И когда бы он ни пришел, что бы он ни услышал, кого бы ни увидал, ему от всего отзывало поганью, скверным духом, — мерещился Дьявол.

Но самого Дьявола так лицом к лицу он никогда не видел. И если бы Дьявол явился к нему, тараканщик не устранился бы и — верил, он верил, одолел бы его.

Если бы Дьявол явился к нему!

\*

Жизнь Павла Федорова проходила в мореньи тараканов. Так не по делу он никуда не заходил, исключая Дивилиных.

И только иногда, а случалось это не больше пяти-шести раз в году, он сдергивал с себя черную сумку с белым ядом и куда ни попало швырял свою палку с кожаным наконечником.

Это приходило совсем неожиданно. Суровость и мрачность вдруг достигали какой-то своей последней точки. Он начинал весь дрожать, глаза застилало, зубы скалились. Собачий вой подымался в груди, и если б тогда привязать его на цепь, он завыл бы собакой.

Он запирал все двери, завешивал занавески, шарил по углам, засматривал под кровать — его тянуло.

Душа его горела, сердце стучало, нутро выворачивалось.

Стуча зубами, как в лихорадке, наконец вырывался он из комнаты и шел, окутанный мутью, с тяжелою тупою головой, а мозг его придавливало, будто лежал на нем плотный слой коры.

Слепо добирался тараканщик до Зверинца.

Там, в Зверинце, молча бродил он от клетки до клетки, от кролика к морской корове, от обезьяны к слону. Потом так же молча и слепо, когда темнело, покидал он Зверинец, выходил на главную улицу.

А на улице уж пробуждалась ночная открытая жизнь.

Шел он всё напряженнее и беспокойнее, глядя перед собой, не давая дороги, не сторонясь, не уступая, напролом.

И если бы нелегкая подтолкнула остановить его, трудно ручаться, чтобы тут же не задушил он, а будь при нем нож, не резал бы негодяя.

И так он шел по улице медленнее и медленнее, пока вдруг не застывал на месте: тогда первая попавшаяся женщина была обречена.

Он не вел, а волок ее, тащил в какой-нибудь номер или комнату.

Там набрасывался — брось голодной собаке кость, как она набросится! или рыбу.. с костями, с кожей, с внутренностями, и урча и сопя, всё схряпает, загрызет с костями, с кожей, с внутренностями поганое лакомое мясо.

И было в этом что-то головокружительное, и продолжалось целые часы, целую ночь.

Молча, не глядя, покидал тараканщик не человека, не женщину, молча, не глядя, покидал тараканщик труп, и шел к себе

домой, чтобы заснуть мертвым сном и, выспавшись, начать жизнь обычную и работу — морить тараканов.

7

Приключения тараканомора оставались глубокою тайной. Как загадочные истории, они нет-нет и выплывали на свет, но никто не поверил бы, что всё это — его дело рук. Все считали тараканщика за необыкновенного, не просто-го, но чтобы такое делать... да никому и в голову не придет.

Тараканщик у всякого на языке.

За последнее время стали немало занимать его посещения Дивилиных: ни к кому без дела порога не переступит, а к Дивилиным — накось! — каждую субботу обязательно.

А дом глухой, не подступишься, и нет возможности узнать, чем он там занимается. А уж очень всем любопытно было знать, чем он там занимается.

Кто-то смеялся:

— В доме все уж давно перемерли, и ни одной ноздри не осталось, а на место людей тараканы завелись, с этими тараканами тараканщик и водит компанию; вот какой хлюст!

— А Дениска? — возражали смехачу, — ведь шляется же мальчишка всякий день в гимназию!

Нет, шутки в сторону, шутками тут не отделаешься. И начинались догадки.

Вспоминали самого старика — утопленника. Без утопленника не могло обойтись.

Говорили:

— Утопленник и не думал помирать, утопленник жив и находится в великом затворе, только с тараканщиком что и водится.

Говорили:

— Тараканщик с Дивилиными бабами новую веру хочет объявить.

А другие говорили:

— Никакой веры тараканщик сделать не может, все веры уж сделаны, а просто живет он с Дивилинскими бабами: с Глафирою полюбовно, а со старухой, как с малым дитём, обманом.

— Да он и не человек вовсе, — замечали хитрецы, — нешто человеку дана власть над тварью, а ему таракан повинуется.

— Таракан не корова, — встревался встревальщик, — корова ли, лошадь ли, овца ли, баран ли и прочий скот, все они Богом благословлены на служение человеку, таракан же не в воле человека, о таракане да о мышах нигде не сказано.

Находились бабы, уверяли бабы, будто они собственными глазами видели, как тараканчик превращался в таракана, и затем собственными ушами слышали, как хрюкал он по-свинычьи.

— При чем же тут свинья, — унимал догадливый догадливых баб, — дело не в свинье, и свинья не при чем, а вот куда делся старшой утопленников сынишка Борис?

— С книг.

— Конечно с книг. Да с каких книг? С простой не сгинешь: черную он читал книгу.

— А откуда она к нему попала?

— От утопленника.

— А утопленник откуда достал?

— Ну, утопленник на то и утопленник.

— Никакой черной книги нет.

— Как нет?!

— Да так, очень просто, нет и нет.

— Нет, говоришь, значит, по-твоему, и Бога нет?!

И если бы не Федосей, отколошматили бы беднягу, до новых веников не забыть.

Федосей — мудрый, слова от него не добьешься, а уж если начнет, за словом в карман не полезет.

— Черная книга есть, — отчеканил Федосей, и все язык прикусили, — черную книгу написал Змий, от Змия перешла она Каину, от Каина — Хаму. А когда пришел потоп, Хам скрыл книгу в камне. А когда кончился потоп, вышел Хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему Ханаану. И пошла книга от сына к сыну в род Хамов. И задумали сыны Хама насмеяться над Богом, как отец Хам насмеялся над своим отцом Ноем. Задумали сыны Хама построить великую с е м и л у ч е й башню, соединить разделенное Богом — небо и землю. Но разгневался Бог, смешал языки, рассеял людей по лицу земли, и попала книга в Содом. И не было преступления, которое не совершил бы проклятый город. Провалился проклятый город, канули грехи и злодеяния, но

книгу не приняло озеро, и огонь не попалил ее. Досталась книга Новуходносору царю. И творились всякие беззакония. И творились всякие беззакония сорок два века человеческих, пока не разрушены были царства и не попала книга на дно морское. Там, под горючим Алатырем-камнем лежала книга ни-весть сколько. И вот, один арап за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но Дьявол полюбил арапа, научил арапа, как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был праведный город, погиб праведный царь и всё его христолюбивое воинство, и вышел тот самый арап из медной башни, спустился на дно морское и достал со дна морского черную книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не заклали ее в стены Сухаревой башни. До сей поры она лежит там, и не было еще никого, кто бы сумел достать ее из стен Сухаревой башни. Она связана страшным проклятьем на девять тысяч лет с тысячью.

— Да как же он пробрался в стену-то, с пустыми руками к этому предмету не подступиться?

— А утопленник-то на что, э-эх ты, голова!

— И совсем не утопленник, а тараканщик .

— Конечно тараканщик! — загалдели все в один голос.

— Да будет вам огород городить, — вступился здравый человек, — какую вы такую загадку разгадываете, когда всё ясно, как Божий день. Дивилины, слава Богу, не шепотники, закон чтят, службу-то править надо, тоже собакой жить не полагается, вот тараканщик и ходит к ним службу отпирать и больше ничего.

— Бабы-то уж очень подозрительны... — усумнился кото-рый-то.

— Наладил: бабы да бабы, а сам хуже бабы!

— Старуха Аграфена с нечистым, говорят, зналась и старшего, которому пропасть, понесла от чёрта, да и эта их Глафира суцая Яга.

— И по какой такой причине утопленникова внука Антонина безногая сидит? Нет, тут что-то неладно.

Снова начались догадки. Трепался язык вовсю. И ссорились, и дрались, и опять мирились. Приплеталось и совсем неподходящее. Даже совсем неподходящее.

Был один человек ихнего же толка, который не только книги читал, но и сам что-то писал божественное. Ходили к нему за

расспросами, но ничего не узнали, только еще больше запутались.

Человек этот такое им загнул словечко, поджилки затряслись и бороды сгунявились.

— Может статься, и Миша-то у нас того, не тараканьим ли делом промышлять стал! — не решив недоуменного вопроса, порешили.

Были и такие дотошные, выслеживать стали, кто в дом к Дивилиным ходит, но никого, кроме тараканомора, не встретили.

И согласились все на одном, что творится в доме что-то чудесное. И с течением времени никто уж не сомневался, что в доме нечисто.

Но что в доме делается, ни одной душе не было открыто.

\*

Всякую субботу к Дивилиным приходил тараканомор Павел Федоров. Все сходились в образную. Павел Федоров облачался, и начиналась служба. Служба длилась долгая.

И когда кончалась всенощная, утомленную Антонину почти на руках уводила Глафира в детскую, а Дениску шлепками прогоняли спать.

Утром в воскресенье совершалась обедня. После службы обедали. И тараканомор уходил к себе домой.

Вот и всё.

Так было при покойном старике. Так было и теперь, после его смерти.

Тогда утопленник был за священника, а тараканомор за дьякона, теперь за священника был тараканомор, а за дьякона ходила Глафира-Яга.

Вот и всё.

Службы совершались чин-чином по уставу со всею строгостью, какая только отцами положена была.

Служил тараканщик с отяжкой и гнусил на весь дом, благо еще стены толстые, а то бы в реке всех рыб посмутил.

У тараканщика лестовка ременная: лапостки алые с белыми и голубыми веточками, у Яги на лестовке лапостки черного бархата с синим ободком и все золотом расшитые, горят при свечах, что звездочки.

Вот и всё.

А люди... люди чего не скажут!

## 8

Однажды, после долгой всенощной, Дениску прогнали спать. Лег Дениска, а спать что-то не хочется.

Вот он лежал-лежал, покликал было Антонину. Антонина не отзывается, сопит, — так истощали ее все эти стояния и поклоны.

Делать нечего, встал Дениска, походил по комнате, и взбрело ему в голову в потемках по дому побродить, а если придется, и Ягу попугать, — Ягу попугать, чтобы вперед не подзатылила.

И, держа в голове, как бы всё это лучше обделать, вышел Дениска из детской, спустился с лестницы и уж хотел отворить дверь в коридорчик, окружавший женскую половину, да только дверь не поддается, дверь оказалась заперта. Что за оказия? Походил он вокруг. Приставил ухо к замочной скважине, — ничего не слышать. Зашел с другого конца, и опять та же история.

Так и пошел ни с чем.

И долго Дениска ворочался, всё головою раскидывал: отчего это дверь заперта — никогда дверь не запиралась! — и ничего не слышно, хоть бы вот этакий комариный зуд.

И снились Дениске всю ночь страшные разбойники, хотели разбойники не то живьем его проглотить, не то отрубить ему голову, — словом, что-то страшное сделать. Но Дениска не трусливого десятка, укусил главного разбойника за палец, и проснулся.

«Это дело нужно разведать; так оставить его нельзя!» — решил Дениска и, сговорившись с Антониной, притворился на следующую субботу больным.

И чесался-то он, и ерзал, и перхал, и глаза муслил, и рука-то у него онемела, и в голове-то где-то в самом мозгу свербит, что страсть, и в ушах такой звон, — куда звон у Ивана Великого!

Ко всенощной его, конечно, не тронули, куда такого тронешь: прямо на ладан дышит.

А когда началась служба, Дениска шасть с кровати, прыгнул да со всех ног в коридорчик, ключ от одной двери и прикарманил. Воротился опять в детскую, улегся, лежит.

Кончилась служба, Яга привела Антонину, а он себе мечется весь, будто в жару лютом, и кукишки кажет и язык высовывает.

Притворила Яга дверь, помешкала на площадке у детской и спустилась вниз.

И всё в доме затихло.

Вот выждал Дениска время, да тихонько в коридорчик к двери.

Думает себе, так сейчас всё и увидит, потирает руки от удовольствия. Ан нет, не тут-то, — толкнулся, а дверь-то не отпирается — заставлена.

Осмотрел Дениска всё тщательно, понапер грудью — маленькую щелку сделал, да в щелку и юркнул. И пошел.

Столовую прошел, шкапную прошел, заглянул в боковые — нет ничего, темно. Обогнул Ягиную комнату, малую модельню и к образной.

Приставил ухо к образной и слышит: долбит тараканщик, а о чем долбит — ничего не поймешь. Долбит и долбит. И опять тихо. И опять долбит, что твой дятел.

Пождал Дениска, послушал и только что уходить собрался, как вдруг, откуда ни возьмись, чья-то огромная нога — хватъ его сапожищем, и наступила.

Хорошо, что у Дениски железная грудь, а то только мокренько бы стало, проломил бы его сапог, как пить дал.

Дениска свернулся в горошину, зажмурился да по полу ползком, по полу и покатился, докатился до двери, да в щелку, да в коридорчик, да по лестнице в детскую бух на кровать.

А в ушах так и долбит и долбит тараканщик.

Что за чудеса? Много Дениска с Антониной ломали голову.

Подступал Дениска к бабиньке, и так и сяк приставал к старухе, но старуха ни полслова, хоть бы что, только молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

## 9

Слух о том, что в доме Дивилиных неладно, исколесив много дорог, дошел и до гимназии.

Учитель географии, по прозванию Мокрица, будто случайно, спросил Дениску:

— Эй ты, как тебя, Дивилин, что ли, каких это у вас там в доме чертей вызывают?

Дениска Мокрице язык высунул.

Мокрица расвирепел: заставил Дениску простоять битый час не двигаясь, и сам стоял против Дениски и, не спуская глаз, следил за ним.

И Дениска, выпятив свою железную грудь, выстоял час, не только не шевелясь, но и не сморгнув ни разу. Не потому, чтобы боялся Мокрицы и слушался, а просто из ухарства и упрямства.

«И выстою, что — выкуси — а?!» — каменел каждый мускул на его детском нежном лице.

Но Мокрицей дело не кончилось.

Позвали Дениску к директору. Когда звали ученика к директору, это означало, что просто уж решено выгнать из гимназии. С тем пошел и Дениска.

Директор долго морил Дениску. Дениска стоял и смотрел на директора. Бритая директорская губа то поднималась, показывая волчий клык, то прикусывалась без остатка.

— Чем занимают твои родители? — не глядя, спросил директор.

— Отец помер, — ответил Дениска.

— Чем занимают твои родители в настоящее время?

— Капусту рубят.

Директор скосился.

— Я тебя про капусту не спрашиваю... — забарабанил директорский палец.

Дениска молчал.

— Ты у меня позанимаешься, наглый мальчишка! — уж грозился директорский палец, а острый камень перстня, сверкнув, кольнул прямо в глаза. — Остаться после уроков!

Призадумался Дениска пуще прежнего.

Отпирал он запрытаным ключом дверь коридорчика, проникал к образной, прислушивался, слышал долбню тараканщика — и только.

Тут на грех пошли истории в гимназии, да такие, не было уж возможности продолжать свои наблюдения.

Много суббот пришлось Дениске отстаиваться в карцере.

И всё из-за пустяка.

Как-то на большой перемене, пробегая мимо инспектора, Дениска, столкнувшись с ним нос к носу, крикнул:

— Леонид Францевич, в каком у меня ухе звенит?

— В левом, — ответил, не задумавшись, инспектор и вдруг побагровел весь: так ошеломил его Дениска своим неожиданным, недопустимым, прямо невозможным вопросом.

И за этот-то самый вопрос, а скорее за то, что инспектор ответил ему на недопустимый вопрос, наказали его жестоко.

В карцере Дениска не отсиживался, а отстаивался.

Стоял столпом, как велел директор, руки по швам, голову так. И старичок швейцар Герасим, хмурия седые солдатские брови, тоже стоял и наблюдал в окошечко, словно бы под туркой.

Дениска стоял, а сам думал: что же это такое происходит в доме у них, и все даже спрашивают, и всем интересно знать, а он не только не знает, а и узнать ничего не может?

И возвращаясь поздним вечером из карцера и не попадая уж к обеду, измытаренный после долгой всенощной, Дениска подолгу разговаривал с Антониной и гадал, и всё об одном, о доме: что за причина завелась у них в доме?

Антонина как-то сказала:

— Может быть, они там детей делают...

— Детей не так делают, — отвечал сурьезно Дениска, — ты ничего тут не понимаешь.

— Ну тогда что же можно еще делать? — поправились Антонина. — Карт в дому нет, отобрал тараканщик.

— Не люблю я эту собаку, такая собака, — огрызнулся Дениска.

— А, по-твоему, бабинька... — растягивая и что-то свое сообщая, перевела Антонина.

— Бабинька помешанная.

— Грех так, она тебе мать.

— Кто?

— Бабинька.

— А твоя мать — Яга.

Антонина не ответила, только нехорошо сдвинула бровки.

— Яга говорит, будто твой отец от книг пропал, конечно Яга! От книг учителя делаются.

— Я тоже не люблю тараканщика, — сказала Антонина.

— А знаешь, Антонина, я придумал. Я влезу в окошко.

— В окошко не видно, — покачала головой Антонина.

— Тогда вот что... я... Антонинка! Я просверлю дырку в обрванной, так — маленькую дырку.

Девочка сверкнула глазами:

— И всё увидишь.

— Конечно, увижу, да как еще!

— И мне расскажешь?

Ударили по рукам.

А в доме принимались предосторожности.

Слухи ли по городу, либо еще какие подозрения, либо просто сердце подсказывало: теперь не только вечерами в субботу, но и в обыкновенное время запирались все двери и все комнаты, так что проникнуть в коридорчик никакой или почти никакой не было возможности.

Глафира ягела, тараканщик чертенел.

Одна старуха Аграфена безропотно, безмятежно всё молилась да вздыхала, молилась да вздыхала.

А всё же как-никак, а под разными предлогами удавалось Дениске урывать минуты и ковырять в двери дырку.

Целые недели старался, и к одной из суббот дырка поспела.

Как Дениска выстоял всюнощную, одному Богу известно.

И когда всё затихло, он спустился из детской, отпер своим ключом дверь, пробрался в коридорчик и через столовую, шкафную, боковую прямо к дырке.

Антонина не могла заснуть, ждавши. Битый час ждала она Дениску.

Калечные мысли проходили в ее голове, отвратительные, недетские — калечные, и дразнили, и приманивали, и ужасом подымали волосы, и щемили ее больные места.

Тянулись минуты, они тоже, казалось, на костылях шли.

Слома голову прискакал Дениска в детскую:

— Знаешь, что они делают?

— Что? — испуганно спросила Антонина.

— Они молятся.

Антонина заплакала.

Так ее измучили калечные мысли и ожидание чего-то страшного и необыкновенного.

А Дениска больше не знал покоя.

Одна мысль точила его, он всё думал и думал: да чем бы это насолить тараканщику, и Яге заодно, какую бы такую штуку придумать, чего бы такое им подстроить, когда они молятся?

Так проходили вечера за вечерами.

Всё валилось из рук.

Сколько Дениска бумаги перевел зря: начнет рисовать, и разорвет.

— Они молятся, — повторял он и спохватывался, цепляясь за что-то, за какую-то дорожку, которая вела его к уморительной каверзе, — они стоят все трое рядом... они целуются... эта собака и Яга... они молятся...

— О чем же они молятся?

— Молятся. Видно только, как губы их раскрываются, и потом хлест лестовок, хлещутся.

Антонина насторожилась.

— А если... Антонинка, знаешь, я придумал, Антонинка! В эту субботу я проберусь в образную... — и Дениска затрясся весь от хохота и горел весь от мысли, мелькнувшей в бедовой его голове, — понимаешь, Антонинка? Ты понимаешь?

И шепотом на самое ухо он сказал что-то Антонине, покосился на дверь, потер себе руки от удовольствия и, схватив со стола снимку, принялся жевать ее во все скулы с наслаждением.

Красные пятна вспыхнули на бледном личике девочки, загорались глаза смехом и слезами.

И она вдруг захохотала, и хохотала, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать, и вся подпрыгивала, и костыли за спиной прыгали.

— Он? — подмигнул Дениска, вынимая изо рта снимку и принимаясь выделывать из снимки какую-то странную дьявольскую фигуру.

— Он! — хохотала вся в слезах Антонина.

## 10

Суббота выдалась особенная — масленичная. Всю неделю объедались блинами, разнесло животы во какие, куда гора! Уж и в горло не шло, душа не принимала, а всё-таки ели. На то она и масленица не простая, а широкая.

Служба тянулась долгая, с такими бесчисленными поклонами и такими трудными: поклонись, а сам и не встанешь.

Яга повела Антонину в детскую, девочка просто валилась.

А Дениска что-то замешкался: лампадку полез поправлять у Трех Радостей.

И что-то уж очень долго вертелся, так что тараканщик стащил его со стула, пхнул коленом.

Такой был суровый и мрачный в эту субботу тараканщик. С блина ли, либо то к нему подходило, — душа его начинала гореть, сердце стучать, нутро выворачиваться, — Бог знает. И когда он пел, и когда гнусил молитвы, зубы его скалились, и весь он подергивался, будто держала его какая-то злая лихорадка, самая злющая из всех дочерей Иродовых.

Дениска кувыркнулся на пороге, но тараканщик поднял его и так саданул, что мигом очутился Дениска прямо на своей кровати.

И Антонина и Дениска притворились спящими.

Ждали.

Колотилось их сердце — ух как!

\*

В доме мрак и тихо.

Все двери затворены и заперты.

Яга еще раз пробует ключ от двери образной.

В образной началось моление.

Он сегодня должен явиться, — сам Дьявол должен явиться, и не в тайном, в явном своем лике. В этот страшный день надлежит быть последнему дню. Они готовы. И пусть Он им явится. Они вступят в борьбу. И Он побежден будет.

Их трое. Трое верных. Мир и земля в грехе. Грех растет. С каждым часом внедряется грех глубже в сердце, в корни сердца. Но их трое. Трое верных среди неверия и греха. Ангел-хранитель покидает землю. С плачем и скорбью летит ангел на небо. Кадильница его пуста. Нет фимиама молитв и покаяния. Нет дел человеческих, угодных Богу. Дьявол всё победил.

Они готовы. И пусть Он им явится. Они поразят его.

И вот они клянутся. Именем Бога, именем Христа, именем Святого Духа. Они клянутся любовью к Ним. К Богу, ко Христу, к духу Святому.

И они клялись. Душу положат свою, душу погубят свою, чтобы сохранить ее.

Они готовы. И пусть Он им явится. И они одолеют его.

Вспыхнут костром, — с ними вспыхнет земля и вместе все твари, — и станет земля и все твари белыми и светлыми, как белы и светлы ризы Господни.

А теперь им должно покаяться друг перед другом.

У Глафиры и Аграфены — великий грех на душе: однажды могли они показать свою веру и любовь к Богу. Но Дьявол смутил и поколебал их: они отвергли и веру и любовь к Богу во имя любви к человеку, — погани.

Когда умер старик, предложил им тараканщик принести в жертву Антонину, но Глафира и Аграфена хоть взяться-то и взялись, а не могли этого сделать.

Они каялись друг перед другом.

— Ты мне сказал, — исповедалась Глафира, — ребенок, которого я родила, самое любимое, что есть у меня, и во имя любви к Богу он должен умереть. Ты велел мне отдать ребенка матушке. И я отдала ей девочку. И, как ты сказал, я осталась одна в комнате. Знала я, что за стеною делается, и слушала. И слышала я, как пискнула девочка. Потом всё затихло. И ногтями я скребла стену, а сердце мое от горя полыхалось. Не могла больше вынести. Не послушалась. Бросилась я в комнату к матушке, а девочка жива еще, дочка моя, сидит она на руках и ротиком смеется. Тогда упала я на колени и просила матушку: «Матушка, не губи ее, оставь ее!» Господи! Господи! Господи! Прости меня!

— Ты велел мне задушить младенца, — шепотом сказала старуха Аграфена, — и я взяла Антонину у невестки, понесла в образную сюда. Посадила ее к себе на колени, надела на шею петлю, а дитё улыбается, смешно ему: щекочет шейку петля. Я затянула петлю потуже, тяну веревку, и вот девочка заплакала, больно, ой, горько заплакала. Ослабила я петлю, сняла с шейки, надела на себя, будто играюсь, а девочка уж улыбается и смеется и в ладошки хлопает. Прости меня, Господи!

— А если бы теперь? — глаза тараканщика остановились страхом.

Глафира ринулась хищная, — хищные раздулись ноздри, как у кобылы.

Достойно есть величати Тя, Богородица,  
Честнейшую и Славнейшую горних воинств,  
Деву Пречистую, Богородицу...

— затянул тараканщик и, круто обернувшись к Глафире, ударил ее по лицу своей ременной лестовкой.

Не пошевелилась Яга.

Только струйка алой крови перемелькнула на Ягином смертельно-бледном лице.

— А если мы не достойны его увидеть? — шепотом спросил тараканщик.

И вдруг закричал громко, вонзаясь глазами в красный огонек лампадки:

— Заклинаю Тебя Богом живым, Святою Троицею, Матерью Божьей, стань тут, Сатана, стань! — стань! — стань!

Тяжкое молчание, невыносимое стянуло образную.

Хватало за горло, душило.

— Холодно, ой, холодно! — вскрикнула Яга и упала.

Звездочкой сверкнула ее лестовка по полу.

Тараканщик, сжимая кулаки, страшным глазом обвел комнату.

Глаза старухи голубые вспыхнули голубым огоньком, вся она согнулась и, казалось, бросится на тараканщика, вопьется ему в горло и пить будет его кровь, как пил бы его кровь сам Дьявол.

Тараканщик выхватил из рук ее белую жемчужную лестовку и, пошатнувшись, дрогнул с головы до ног.

На иконе Трех Радостей, там, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери с жемчужной рубашечкой Младенца, у благословляющих рук Младенца торчал на белом черненький чёртик, растопыривая тощие ножки и егозя мышинным вертлявым хвостиком.

И оно наступало.

Наступал час тараканщика.

Занавески и расшитые полотенца на иконах текли перед ним длинными кровавыми струями, огонек лампадки надувался.

Оно наступало.

Старуха улыбалась — голубые глаза ее вспыхивали голубым огоньком.

Тараканщик стучал зубами: были они, как чужие ему, холодные, как лед. Глаза застилало. Спирало дыхание.

Оно шло верно и быстро, всё ближе подходило, подкатывалось к его сердцу, трясло изо всей мочи, как никогда еще, ни там дома, с наглухо запертой дверью, над полыми предметами

и стаканами, ни там в Зверинце, ни там на улице, ни там в грязных номерах.

И — ударило его.

Бросился тараканщик к иконе и, размахивая и крутя в воздухе жемчужною лестовкой, нечеловечески подпрыгнул.

И прыгал, и прыгал, доставал ее, белую, белоснежную, пречистую, срывая белые одежды, и хлестал по ней.

Достойно есть величати Тя, Богородица,  
Честнейшую и Славнейшую горних воинств.  
Деву пречистую, Богородицу...

А черный чёртик на уцелевшей жемчужине у Младенца, там, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери с рубашечкой Младенца, зацепившись хвостиком, непобедимый, будто егозил, растопыривая тощие ножки.

Градом катился жемчуг, осыпал тараканщика, колол глаза.

Разлетались жемчужины, прыгали по полу, плясали по Яге, голубым огоньком горели в глазах старухи.

И глухой собачий вой разрезал ночь, ночь и комнату, будто тысячи собак выли и грызлись, отнимая друг у друга единственный кусок поганого сладкого мяса.

Старуха улыбалась.

\*

Дениска, уткнувшись в подушку, захлебывался от хохота.

— Он! — пищал Дениска, — я его укрепил крепко на Трех Радостей!

— На Трех Радостей, — повторяла горячими горячими губами Антонина, прижимаясь калечным телом к железной груди Дениски.

И бесившиеся вопли из низу и какой-то девичий, будто из земли, из крови выходящий крик не тревожили хохота, не смущали горячих детских и счастливых объятий.

— Он, — задыхался Дениска, — черненький, с лапками и с хвостиком.

— И с хвостиком, — шептала горячими губами Антонина.

Так и заснули Дениска и Антонина.

Крепкий сон залег в детской.

Спали рожицы и хвостики по стенам, спали пустые полки, спали карандаши и гуммиластики и кусочки снимки, оставшиеся от чёртика, как спали в непробудном сне непроницаемые серые стены Дивилинского дома.

И сквозь сон, казалось, один безмянный сторожил сон спящих.

Кто он? Как его имя? Откуда он и зачем пришел?

Он стоял на площадке, приотворял дверь и, бескостный, тихонько на цыпочках подходил к кроватям.

Антонина и Дениска, перевертываясь на другой бок, раскрывали свои испуганные глаза под огромными, сверлящими огоньком острыми глазами.

Такой, как Амазон на картинке у бабиньки, только голова у него, будто не на шее — на винте, всё поворачивалась, как на винте. Длинные тонкие губы его — отвратительные, чуть улыбались.

— Он, — бормотал Дениска.

— Он, — повторяла Антонина.

И серел рассвет, вставал серый день там, за окном.

Там за окном лежала река, покрытая серым сколотым льдом. Дым клубился над городом из теплых труб. Спозаранку топились печи ради последнего дня — Прощеного воскресенья.